

ФЕДОР АБРАМОВ
ПУТИ-ПЕРЕПУТЬЯ

*Роман
(фрагменты)*

Часть первая

Глава первая

1

Все, все было как наяву, все до последнего скрипа, до последнего шороха в заулке врезалось в память...

Ночью они с Иваном спали крепким, спокойным сном, и вдруг топот и грохот в сенях, будто стадо диких лошадей ворвалось туда с улицы, потом с треском распахнулась дверь, и на пороге – Григорий, бледный-бледный, с наганом в руке. «Вот он, вот он! – закричал Григорий. – Хватайте его!» И Ивана схватили. Петр Житов (так и заверещал немазанный протез), Федор Капитонович, Михаил Пряслин... А она, жена родная, не то чтобы кинуться на защиту мужа – слова выговорить не могла...

– Ну и приснится же такое, господи! – Анфиса перевела дух и первым делом заглянула в кроватку сына: у Родьки прорезывались зубы и он уже который день был в жару.

В мутном утреннем свете – в окна барабанил дождь – она увидела долгожданную улыбку на лице спящего сына, услышала его ровное дыхание, и блаженная материнская радость залила ее сердце.

Но радость эта продолжалась недолго, считанные секунды, а потом ее снова сдавила тоска, страх за мужа.

Ивана вызвали в райком на совещание три дня назад, и вот – небывалое дело – не то что его самого, весточки никакой нет.

Она все передумала за это время: заболел, уехал в показательный колхоз (есть такой возле райцентра, возят туда председателей), укатил на рыбалку с самим (второй год у Ивана какая-то непонятная дружба с Подрезовым)... Но сейчас на все это она поставила крест. Сейчас, после того как ей приснился этот страшный сон, она была уверена: с Григорием поцапался Иван.

– О, господи, господи, – расплакалась вдруг Анфиса, – да кончится ли это когда-нибудь?

Шестой год они живут с Иваном, Родька скоро на ноги встанет, а она все еще Минина и Родька Минин...

Она еще как-то понимала Григория, когда тот отказывал ей в разводе попервости, – где сразу обуздаешь свое самолюбие? Но теперь-то, теперь-то чего вставать на дыбы?

И вот они с Иваном порешили: еще раз по-хорошему поговорить с Григорием, а ежели он и на этот раз заупрямится, подать в суд. И пускай Григорий срамит ее на весь район, пускай на всех перекрестках чешут языками...

Покормив проснувшегося сына, Анфиса встала, затопила печь и, посмотрев на часы, дала себе слово: ежели Ивана не будет до двух часов, она позвонит в райком.

2

Стук копыт под окошками раздался в третьем часу (у нее не хватило духу позвонить в райком), и Анфиса не помня себя выскочила на улицу – босиком, без платка, как молодка.

Мимо проходила старая Терентьевна – подивилась такой горячности. Но Анфиса и не думала обуздывать себя. Она так истомилась да исстрадалась за эти дни – обеими руками обняла, обвила мужа.

– С ума сошла! Грудницу схватить захотела? – заорал Иван и даже оттолкнул ее: стужей, осенней сыростью несло от его намокшего, колом стоявшего дождевика. И эта забота, выраженная чисто по-мужицки, грубо, откровенно, дороже всякой ласки была для Анфисы.

Прикрывая руками полуголую грудь, она одним махом взлетела на крыльцо.

– Родька, Родька! Папа приехал...

Она быстро вынесла в сени деревянное корыто и короб с настиранным бельем, подтерла вехтем пол (первое это дело – порядок в избе), собрала на стол, а потом и сама заглянула в зеркало – нельзя ей растрепой, хватит с нее и того, что Родька высушил.

Иван вошел в избу в одних – шерстяных – носках, без дождевика, даже ватник в сенях снял. Но от него все еще несло холодом, и он, прежде чем подойти к кровати сына, растер руки, размял плечи.

– Ну, как он без меня? Не получше?

– Получше, получше. Только вот только заснул – все жил, отца дожидался. Зуб хотел показать. Хорошая кусачка выросла. Матерь давеча за грудь цапнул – я едва не взревела.

– Постой-ко, у меня ведь что-то для него есть.

Лукашин на носках вышел в сени и, к великому удивлению Анфисы, вернулся оттуда с шаркунком – маленькой берестяной игрушкой в виде кубика с камешком внутри.

– На, господи, – развела она руками, – люди с пожни привозят шаркунки, а ты с района? – И пошутила: – На совещаниях, что ли, нынче игрушки делают?

– Почему на совещаниях? Я тоже на пожне был. Всю Синельгу объехал. От устья до вершины...

Теперь ей понятно стало, отчего Иван весь в колючей щетине и раскусан комарами.

– Представляешь, с полубуханкой на Синельгу? – начал рассказывать он, присаживаясь к столу. – Два с лишним дня на таком пайке...

Анфиса не выказала ни удивления, ни сочувствия. Она не любила этих мальчишеских выходок своего мужа. Его ждут-ждут дома, убиваются, места себе не находят, а он, на-ко, ехал-ехал, да пришла в голову Синельга – и поскакал. Как будто сквозь землю провалится эта самая Синельга, ежели туда на день позже выехать.

– Нельзя, – неохотно буркнул Иван, перехватив ее сердитый взгляд. – Подрезов на всех страху нагнал. Установка такая – заприходовать все частные сена...

– Колхозников? – выдохнула Анфиса.

Лукашин ничего не ответил. Он ел. Ел жадно, с ужасающей быстротой. Тарелку грибного супа, полнехонькую, вровень с краями, выхлебал, крынку пшенной каши, какую они и вдвоем не съедают, опорожнил, молока холодного, с надворья, литровую банку выпил, и все мало – кусок житника отвернул.

– Да, вот что! Знаешь, кого я в районе видел? Илью Нетесова.

– Ну как он? Держится? – Анфиса ширнула носом и по-бабьи сглотнула слезу: у Ильи Нетесова на одном году смерть дважды побывала в дому. Сперва умерла дочь Валя, которую отец больше всего на свете любил, а потом – не прошло и полугода – отправилась на погост Марья: тоской изошла по дочери.

– Держится. Только на уши жалуется. Плохо слышать, говорит, стал.

– Это смерть Валина да Марьяна у него на уши пала, – по-своему рассудила Анфиса. – Бабу бы ему какую надо... Где уж одному с ребятами маяться...

– Насчет бабы разговору не было. А вот насчет дома был. Подумывает возвращаться...

– Куда возвращаться? В колхоз?

– А что? В колхозе не люди живут? – Иван даже банкой пристукнул по столу. И она уж молчала, не перечила, хотя что же сказала такого? Разве ему объяснять, как нынче живут в колхозе?

Иван первый пошел на попятный, с испугом взглянув на кровать:

– Ладно, выкладывай, что тут у вас. Жать начали?

– Нет кабыть.

– Почему?

– Да все потому. Погодка-то, сам видишь, какая.

– Погодка, между прочим, вчера стояла подходящая. Весь день на Синельге было сухо. Или тут у вас, в Пекашине, другой бог? А как те? – Иван круто кивнул в сторону заднего окошка. Но она и так, без этого кивка, понимала, кого имеет в виду муж. Плотников. Бригаду Петра Житова, которая на задворках, у болота, строит новый скотный двор. – Чего молчишь? Я ехал по деревне – что-то не больно слышать ихние топоры.

Анфиса решила ничего не утаивать: все равно узнает.

– Пароходы вечер пришли...

– Ну и что? – опять зло спросил Иван. Спросил так, будто она-то и есть главный ответчик за все.

А кто она такая? Какая у нее власть? Разве не по его милости она, бывшая председательница, стала рядовой колхозницей? Чтобы не кивали люди при случае – вот, мол, семейственность в колхозе развели.

И она, с трудом сдерживая себя, ответила:

– Ну и то. Грузы привезли...

– Так, – сказал Иван, – все ясно. На выгрузку укатали...

Он посидел сколько-то молча, неподвижно, все больше и больше распаяя себя, и вдруг встал – решил. И бесполезно было сейчас говорить ему: постой, Иван, одумайся! Это все равно что в огонь дрова подбрасывать. Но, с другой стороны, очень уж это серьезное дело – сено колхозников. Отнять, заприходовать его нетрудно. А что же дальше? Как же дальше-то он будет ладить с людьми?

И Анфиса, подавая мужу сухой ватник – наконец-то на улице проглянуло солнышко, – сказала осторожно:

– Сено у нас и раньше подкашивали для себя. Ведь уж как, чем-то свою корову кормить надо.

– А колхозных не надо? Колхозные воздухом сыты будут, да? Сколько каждую весну падает от бескормья? Нет, я не я буду, ежели не обломаю им рога. Ха! Они веревки из меня вить будут... Наставили себе сена и плевать на все, что хочу делаю. Видел я на Синельге – под каждым кустом стожки...

– Ну, смотри, Иван, – уже прямо сказала Анфиса, – дерево срубить недолго, да как поставить обратно. Кабы у того же Ильи Нетесова своя корова была, да разве он уехал бы на лесопункт?

Иван, чего с ним никогда не бывало раньше, с размаху хлопнул дверью.

От шума проснулся и заплакал в кровати Родька.

Анфиса подхватила сына на руки и быстро сбоку подбежала к окну.

Иван отвязывал от изгороди Мальчика. Передохнувший жеребец начал было игриво перебирать густо забрызганными грязью ногами, задирает оскаленную морду, но Иван – все еще не остыл – наотмашь ударил жеребца кулаком по храпу, и тот сразу успокоился.

Дальше все было знакомо. Старые визгливые воротца на задворках, тропинка вдоль картофельника, баевская баня – тут муж отпустит жеребца. Наматывает на голову повод, даст легкий пинок под зад, и трясись себе на конюшню...

И тем не менее Анфиса глаз не спускала с мужа. Она ждала, куда пойдет Иван от баевской бани. Ежели повернет назад, домой, то, считай, на этом и кончится ихняя размолвка – сын примирит отца с матерью, а ежели повернет на дорогу...

Никогда сроду не отличалась набожностью Анфиса, но тут начала шептать про себя молитву – до того ей хотелось, чтобы муж повернул домой. И в конце концов даже не ради того, чтобы водворился мир в ихнем доме. Бог уж с ним, с этим миром. Не впервой они ссорятся. Ей хотелось этого ради самого Ивана. Потому что поверни Иван на дорогу, куда же он сейчас пошастает, как не под гору – к баржам, к мужикам? А из этого такое может выйти, что и не расхлебать потом.

Иван повернул на дорогу.

Глава вторая

1

Новый коровник в Пекашине заложили два года назад, и ох какая радость была у людей! К новостройке у болота пролегли тропы чуть ли не от каждого двора, ребятишки перенесли туда свои шумные игры, прохожие и проезжие приворачивали. В общем, все, все истосковались за эти годы по звону топора да по щеляному духу.

Стены поставили быстро, за весну и осень. А дальше – стоп. Дальше заколодило. Сперва из-за плах для пола и потолка – в Пекашине все еще не было своей пилорамы, потом из-за гвоздей – нет в продаже, хоть пальцы свои забивай, а потом вот из-за нынешней страды. Мокрядь. Сеногной. Сухие ведренные деньки наперечет. А обычно так: с утра жара, рубаха мешает – золото день, а только за грабли взялся – и потянуло из сырого угла. Ну и что было делать? Пришлось плотников бросить на сенокос.

Но, конечно, все эти помехи и задержки – и плахи, и гвозди, и нынешняя погода, – все это больше для районного начальства, для отчетов. А сам-то Лукашин понимал, в чем главная загвоздка. В мужиках.

Когда, с какого времени сели топоры у мужиков? А с прошлой осени, с той самой поры, когда в Пекашине – который уж раз – до зернышка выгребли хлебные сусеки...

И все же, говорил себе Лукашин, выходя на деревенский угор, такого еще не бывало. Первый раз плотники не вышли на стройку днем...

Орсовский склад у реки, огромная хоромина под светлой, еще не успевшей почернеть крышей, походил на крепость, окруженную белыми валами из мешков с мукой, из ящиков со сладостями и чаем, из бочек с рыбой-морянккой.

Все это добро было предназначено для рабочих Сотюжского леспромхоза (в Пекашине у него перевалочная база, выстроенная в прошлом году), а колхозникам – ни-ни, килограмма не достанется. Ибо у колхозников своя снабженческая сеть – сельпо, а сельповская сеть известно – всегда пуста. Вот мужики и стараются урвать из орсовских богатств хоть малую толику во время выгрузки. Тут уж орс не жметя, щедро платит и натурой и деньгами.

Судя по тому, что под складом не было видно ни одного буксира, разгрузка сегодня всего скорее была закончена, и поостывший немного Лукашин начал было подумывать, а не

повернуть ли ему назад. Мужики сейчас по случаю завершения работы наверняка пьяны, а с пьяными мужиками какой разговор? А потом, уж если на то пошло, он не хуже своей многоумрой женушки понимает, из-за чего удрали мужики на выгрузку. Когда, в каком месяце он выдавал колхозникам хлеб? В июне, перед страдой. А сегодня какое у них число?

Нет, приказал себе Лукашин, надо все-таки спуститься, а то, чего доброго, они и завтра удерут. У нынешнего мужика совести хватит...

2

Лукашин не ошибся: грузчики выпивали. На вольном воздухе, возле костерка, а чтобы огонь не мозолил глаза их женам (те под вечер каждый раз высматривают своих пьяниц с деревенской горы), прикрылись сверху брезентом. Сообразили! А у скотного двора два года не могут поставить самого ерундового навесишка, от каждой тучи к кузнице бегают...

Ефимко-торгаш, зав перевалочной базой, с ног до головы перепачканный мукой (так сказать, из самого пекла хлебной битвы вышел), заплясал перед Лукашиным как черт: чует свою вину. И у Михаила Пряслина с Борисом Саловым, молодым парнем из вербованных, которого в прошлом году привела в колхоз с лесопункта доярка Маня Иняхина, совесть заговорила: оба взгляд отвели на реку.

Ну а Петр Житов не смутился. Лихо, в упор глянул на председателя своим рыжим, уже хмельным глазом и для полной ясности смачно хлопнул по протезу – с меня-де взятки гладки.

На остальных можно было не смотреть: что Петр Житов скажет, то и они. Да и какой от них толк вообще? Самая что ни на есть нероботь: один кривой, другой хромой, третий еле видит... Даже в лес им ходу нету – вот и околачиваются в колхозе, пьют да делают бабам ребятишек.

По распоряжению Ефимка для Лукашина быстро раздобыли граненый стакан, поставили ящик из-под конфет (Петр Житов и сам Ефимко сидели на таких ящиках), и пришлось сесть. Не будешь же рубить с ходу!

– Чугаретти, а ты какого хрена? Особое приглашение надо?

Только теперь Лукашин заметил своего шофера Анатолия Чугаева, прозванного так с нынешней весны. Правда, попервости его окрестили было по созвучию имени Тольятти, и простодушный и простоватый Чугаев, когда ему растолковали, кто такой его знаменитый тезка, от радости был на седьмом небе. Но Петр Житов, человек, по местным масштабам весьма искушенный в политике, сказал:

– Не. Не пойдет. И рылом не вышел, и автобиография не та.

– Ну тогда пушай хоть Чугаретти, что ли, – предложил Аркадий Яковлев. – А то вознесли человека на колокольню и хряп вниз башкой.

– А это можно, – милостиво разрешил Петр Житов.

Так вот, Чугаретти, которому Лукашин строго-настроено, уезжая в район, наказал день и ночь возить траву на силос, сейчас в своем диковинно красном берете стоял возле полуторки у ворот склада и искоса, воровато, что-то ковыряя сапогом, поглядывал на своего хозяина.

В один миг с Лукашина слетели все обручи, которые он с таким трудом набивал на себя, шагая сюда.

– Я тебе что, что говорил? Калымить?

– Да ты что, понимать, товарищ Лукашин, – обиженно забухал Ефимко. – Что значит калымить? Должна же быть у советского человека сознательность...

– Заткнись со своей сознательностью! Сознательность... Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?

Чугаретти, виновато горбясь, начал заводить железной рукояткой мотор грузовика. Но тут уж за обиженного вступилась вся шарага: дескать, как же это так? Человек ишачил-ишачил как проклятый, а тут, выходит, напоследок и душу согреть нельзя. Да стограммовка еще в войну прописана нашему брату. Самим наркомом...

Заступничество товарищей едва не довело чувствительного Чугаретти до слез: толстые губы у него завзрагивали, а большие коровьи глаза навывкате налились такой тоской и печалью, что, казалось, во всем мире не было сейчас человека несчастнее его.

– Ладно,– буркнул Лукашин в сторону покорно выжидающего Чугаретти, – заправляйся да уматывай поскорей, чтобы глаза мои на тебя не смотрели.

Выпили. Кто крякнул, кто сплюнул, кто полез ложкой или прямо своей пятерней в котелок со свиной тушенкой...

Веровочку-выручалочку бросил Филя-петух, щупленький, услужливый мужичонка со светлым начесом над бельмастым глазом, но очень цепкий и тягловый, как говорят на Пинеге, и страшный бабник. Филя, явно тяготясь молчанием, сказал:

– Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?

– Какие вредители?

– Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить...

– Язык? – страшно удивился Аркадий Яковлев.– Это как язык?

– Да, да,– живо подтвердил Игнатий Баев, – я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете «Правда»...

– Ну вот,– вздохнул старый караульщик,– заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году академики... Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут...

– А ты думаешь, всякие черчилли зря хлеб жуют...

– Обрубь концы! Кончай разговорчики! – вдруг заорал как под ножом Ефимко-торгаш и встал.

– Ты чего? – Петр Житов повел своим грозным оком. Ни дать ни взять Стенька Разин. Да для пекашинских мужиков он, по существу, и был Стенькой. Потому как умен, мастер на все руки и характер – каждого под себя подомнет.– Ты чего? – грозно спросил Петр Житов.

– А то! На моем объекте политику не трожь, ясно? Чтобы никаких разговоров про политику...

– Мишка, своди-ко его на водные процедуры.– Петр Житов вытянул руку в сторону реки.

– Можно,– ответил, усмехаясь, Михаил и с радостью начал расправлять свои широченные плечища.

Ефимко – недаром торгашом прозвали – не стал дожидаться, пока Михаил встанет на ноги да примется за него, а живехонько с ловкостью фокусника извлек откуда-то новую бутылку и поставил перед Петром Житовым.

После повторной стограммовки всех потянуло на веселье. Караульщик Павел, постукивая березовой деревягой, притащил из своей избушки обшарпанный голубой патефон. Но завести его не удалось: куда-то запропала ручка.

Тогда Петр Житов, скаля свои желтые, прокуренные зубы, сказал:

– Чугаретти, ты чего притих? Валяй хоша про то, как спасал Север. В разрезе патриотизма...

– Ты разве не слышал? – удивленно спросил Чугаретти и покосился на Лукашина.

– Я не слышал! – воскликнул Филя-петух. Разудало, с притопом, исключительно в угоду Петру Житову, потому как в Пекашине все – и старый и малый – знали про подвиги Чугаретти в минувшей войне.

– Давай, давай! – по-жеребьячи загоготал Петр Житов. – Где ты оказался на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого?..

Чугаретти вытолкали вперед, Ефимко-торгаш уступил ему свое место, и Лукашину – дьявол бы их всех забрал! – пришлось еще раз выслушать хорошо знакомую небывальщину.

– Значит, так, – заученно начал Чугаретти, – на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого я оказался не так чтобы близко от родных мест, но не так чтобы и далеко. На энском объекте в районе железной дороги Мурманск – Петрозаводск...

– В лагере? – уточнил Филя.

– Ну, – неохотно кивнул Чугаретти.

Все знали – опять же по рассказам самого Чугаретти, – за что он попал за колючую проволоку. За лихачество. За то, что перед войной две машины угробил за год: одну утопил, переезжая осенью за речку по первому, еще не окрепшему льду, а другую разнес по пьянке – не понравилась изба, которая не захотела свернуть в сторону. И вот, хотя ни для кого не было тайн в биографии Чугаретти, ему под ухмылки и веселые перегляды товарищей пришлось рассказать и про это.

– ...Ну, сидим, значит, у себя, загорам – только что Беломор-канал отгрохали, имеем право? Радует, одним словом, солнышко пригревать стало. А то, что кругом война, немцы да финны на нас прут, мы и понятия не имеем... Ладно, сидим греемся на солнышке – выходной день дали. И вдруг в один прекрасный момент видим: начальство едет. Не наше, не лагерное, а сам командующий Севером генерал Фролов. Вот так... Ну, нас, эков, понятно, сразу по баракам – не портить картину. «Стой! – кричит Фролов. Это нашим-то фараонам. – Стой, так вашу мать. Я с ними говорить буду...»

– С характером дядя, – заметил кто-то с усмешкой, но Чугаретти, только что начавший входить в раж, даже бровью не повел.

– Да-а, сказанул нам Фролов – вывернул и потроха и мозги наизнанку. «Ребята, говорит, в доме у нас воры». Мы глаза на потолок – какие еще воры, когда тут самое-распросамое жулье собралось. Со всего Советского Союза. «Чужие воры. Немцы. Их выкуривать надо, поскольку внезапно залезли в наш священный огород...» Понятно... Выходи на рубежи и спасай Россию, поскольку, значит, армия еще не подошла. Ну, ребятки у нас быстренько шариками крутанули: «Чего дашь?»

– Торговаться, сволочи, да? – устрашающе заскрежетал зубами Ефимко-торгаш. Он был уже вдребезги пьян, но насчет бдительности не забывал. Сработал моментально.

Ефимка быстро успокоили, потому как здесь-то и начинался самый гвоздь рассказа.

– «Да, чего дашь?» – спрашивают Фролова эки. – Тут Чугаретти даже привстал немного, чтобы с большей впечатляемостью передать решающий разговор генерала с эками. – «А перво-наперво, говорит Фролов, дам хлеба». И достает вот такой каравайце.

– Не худо, – хмыкнул Аркадий Яковлев.

– «А еще чего?», – еще больше возвысил свой голос Чугаретти. – «А еще, говорит, дам сала». И вот такую белую кусину достает. Ну и в третий раз спрашивают эки: «Чего дашь?» И тут Фролов помолчал-помолчал да и говорит: «А еще, говорит, дам вам, ребята, нож». И вот такую филияжину достает из-за голенища.

Развеселившийся Филя-петух заметил:

– У тебя, Чугаретти, генерал-от как урка. С ножом за голенищем ходит...

– Ладно, – продолжал Чугаретти. На комариный укус Фили он, конечно, и внимания не обратил. – Ладно, харчи в брюхе, перо за голенищем – вперед на воров и смерть фашизму! Немцы, понятно, думают – мы от большевиков драпаем как пострадавши. Приняли. Жратвы дали, шнапсу этого ихнего дали, по плечу похлопывают: «Гут, гут, рус». Хорошо, значит. А мы что же, едим да пьем: у ээка брюхо дна не имеет. А потом команда: в ножи!.. Н-да-а, чистенько сработали. Своих пять убитых да два раненых, а ихних набили – как баранов по всему полю. Ну дак уж Фролов потом не знает, как нас и благодарить. Каждого обнимает, у самого слезы. «Ну, говорит, ребята, спасибо. Родина вас не забудет...»

Последние слова Чугаретти произнес со всхлипом, вытирая своей черной ручищей мокрые глаза. Но это на мужиков не произвело решительно никакого впечатления, ибо все они за исключением разве Михаила Пряслина сами побывали на войне. Наоборот, Чугаретти – так это кончалось всегда – дружно стали уличать во вранье, требуя разных уточнений вроде того, например, где располагался ихний лагерь, далеко ли от границы? Или какие такие чудодейственные ножи были у ээков, что им и немецкий автомат нипочем?

Лукашин – он не забыл, зачем пришел, – одним дыхом выпалил:

– А у нас тоже воры завелись. – При этом слово «воры» он произнес точь-в-точь как Чугаретти, с ударением на последнем слоге.

Петр Житов вопросительно поднял бровь:

– У нас воры? Где у нас воры?

– В колхозе. Я вот только что по Синельге проехал – кто-то в колхозные сена к нам залез.

Лукашину нелегко дались эти слова, ибо он знал, не хуже своей жены знал, что колхозники на дальних сенокосах всегда подкашивают для себя. И так делается во всех колхозах. Но раз уж замахнулся – бей. И он закончил:

– Чуть ли не под каждой елью стожок...

Петр Житов – совсем не похоже на него – как-то неуверенно поглядел на своих притихших мальчиков, как он часто называл своих работяг, затем примирительно сказал:

– Что-то путаешь, товарищ Лукашин. Кто полезет в колхозные сена...

Мстительная, прямо-таки головокружительная радость охватила Лукашина – настала его пора торжествовать. Хватит, помотали они ему нервы, посмотрим, какие нервы у вас.

Он поднял высоко голову, сказал:

– Ничего не путаю, товарищ Житов. На днях пошлем специальную комиссию...

Сзади, за спиной Лукашина, громко всхрапывал, булькая горлом, вконец упившийся Ефимко – всегда одним у него кончается, – и Лукашин не к его храпу прислушивался вдруг каким-то обострившимся в эту минуту слухом. Он прислушивался к реке, к ее спокойным, затихающим всплескам внизу, за увалом, – кажется, хороший день будет завтра, – прислушивался к ровному гудению костра, на который караульщик только что бросил несколько жарких сосновых полешек, и еще он прислушивался к шагам на лугу. Кто-то – скорее всего жена одного из этих мужиков – шел сюда. И мысленно он уже представлял себе, какой сейчас концерт у них начнется, – крепко выдают бабы своим мужьям за эти выпивки на берегу. Потому что иной раз мужиков так закрутит, что не то чтобы домой какой рубль принести, а еще в долг залезают.

Из-за штабеля мешков с мукой вышла Анфиса.

Лукашин понимал, зачем притащилась его благоверная: ради него. Ради того, чтобы он не наломал дров, не разругался совсем с мужиками. И вообще, все эти пять лет, что они живут вместе, он только и слышит дома: «Иван, полегче! Иван, потише! Иван, не наступай, бога ради, на больные мозоли людям...»

Но дома – пускай: жена. Да еще и жена неглупая – сама сколько лет колхозом правила. Но она ведь и на людях стала наставлять его.

В прошлом году он застучал на молотилке двух баб – в валенки жита насыпали. ЧП. По существу, под суд надо отдавать, а она, только начал он их пушить, тут как тут со своей заступой: «Давай дак, председатель, зерно не солома. Большую ли ему щель надо, чтобы закатиться». В общем, подсказала бабам, как вывернуться, а его самого просто в дураках оставила.

То же самое в этом году. Пустяк, конечно, – рукавица семян, которую Клавдия Лобанова отсыпала на поле во время сева. Но ведь не прижать как следует Клавдию – весь колхоз растащат! Не дала. Запричитала насчет голодных ребятишек – вой кругом поднялся. «Да пойми ты раз навсегда, – втолковывал он ей дома, – в какое ты меня положение ставишь! Ведь я в глазах колхозников зверем выгляжу – этого тебе надо?» – «Что ты, что ты, Иван! Да я ни в жисть больше ничего не скажу».

И вот пожалуйста – явилась. С приветливой улыбочкой – никаких свар там, где я, – а чтобы он не мог придраться к ней, на руке короб с бельем. Полоскать иду.

И именно эта-то неуклюжая хитрость – нитками же белыми шита! – больше всего и взбесила его сейчас. Так взбесила, что в кармане ватника карандаш попался – в куски изломал. Ну а для житовской шараги ее приход – праздник. Все вскочили разом на ноги, заорали:

– Анфиса, Анфиса Петровна!.. – Как будто для них и человека дороже ее на всем свете нету.

Петр Житов – тот еще артист! – широким, просто-таки княжеским жестом указал на ящик справа от себя: любой выбирай. Так-то мы почитаем тебя!

– Нет, нет, Петя, не буду. Какое мне сидение – полоскать иду. Я это нарочно крюк дала, думаю: мужик-то у меня где?

– Да, дело к вечеру, – игриво ухмыльнулся Петр Житов.

– Да не мели ты чего не надо, – в том же игривом духе ответила Анфиса и даже хлопнула его по спине. – Вы мне председателя-то испортите – все с вином да с вином...

– Ладно, иди куда пошла, – как можно спокойнее сказал Лукашин и, тоже невольно переходя на язык игры, добавил: – А насчет вина мы уж сами как-нибудь разберемся.

Анфиса тут так вся и просияла, с резвостью молодой девки подняла с земли короб с бельем.

– Постой, – сказал Петр Житов. – Раз посидеть не хочешь, выпей на прощанье.

– Нет, нет, не буду. Какое мне питье – ребенка кормлю.

– Ясно. Пить с ворами не хочу...

– Чего, чего, Петя? С ворами? С какими ворами?

Анфиса медленно огляделась вокруг, пытливо посмотрела на мужа.

– В газетке одной недавно вычитал. Один руководящий товарищ колхозников так назвал...

Лукашин не успел ответить Петру Житову – его опередил Михаил Пряслин. Михаил заорал вне себя:

– Чего тут в прятки играть? Руководящий товарищ... В газетке вычитал... Председатель свой так сказал. – И то ли совесть заговорила в нем вдруг, то ли Анфису ему жалко стало, добавил: – Ладно, заводи, Чугаретти, своего рысака. В гору попадать надо.

Петр Житов – камень человек! – не пощадил Анфису. Требовательно глядя ей в глаза, спросил:

– Хочу знать твое мнение на этот вопрос... Как бывшего председателя. В разрезе какой нынче линии колхозники: хозяева или воры?..

Все примолкли – нешуточно спросил Петр Житов.

Лукашин не глядел на жену. Он зажал себя – кажется, под пыткой не проронил бы ни единого слова. Пускай, пускай повернется! Его проучил Петр Житов, так проучил, что до гробовой доски помнить будешь, но пускай и она сполна почувствует, как мужики умеют приголубить.

Анфиса усталым голосом замученной, заезженной бабы сказала:

– Какие вы воры... Воры чужое тащат, в чужой дом заезжают, а вы хоть и возьмете когда чего, дак свое.

Часть третья

Глава девятая

1

Темень. Морось. И – гром.

Не небесный, домашний: чуть ли не в каждом доме крутят жернова – дождались новины на своих участках!

Михаил любил эту вечернюю музыку своей деревни, любил теплый и сладкий душок размолотого зерна, которым встречает тебя каждое крыльцо.

Но чтобы попасть в этот час в чужой дом... Мозоли набьешь руках, пока достучишься!

Он начал сбор подписей со своей бригады – ближе люди.

К первой ввалился к Парасковье Пятнице, прозванной так за отменное благочестие и набожность.

– Председатель у нас, Парасковья, ничего, верно? – заговорил Михаил с ходу.

– Кто? Иван-то Митревич? Хороший, хороший председатель, дай ему бог здоровья.

– Надо выручать из беды мужика? Согласна?

– Надо, надо, Мишенька.

– Тогда подпишись вот здесь.

– Да я подписаться-то, золотце, сам знаешь, не варзаю.

– Это ничего. Валяй крест. Крест тоже сойдет.

Нет, и крест не поставила.

Полчаса, наверно, вдалбливал в темную башку, зачем надо подписывать письмо, зачитывал вслух, стыдил, ругал – не смог навязать карандаш.

Точно так же несолоно хлебавши ушел он от Василисы. Эта, видите ли, бумагу не хочет портить своими крюками. Пушай, дескать, грамотные люди такие дела делают, а я весь век с топором да с граблями – чего понимаю?

– Не приневоливай, не приневоливай, Михайло Иваныч, я и так богом обижена – всю жизнь одна маюсь... – И все в таком духе до самых ворот.

Но старухи – дьявол с ними. На то они и старухи, чтобы палки в колеса ставить. А как вам нравятся Игнаша Баев да Чугаретти?

Игнаша зубы скалить да людей подковыривать, особенно тех, которые не могут дать сдачи, первый, а тут едва Михаил заговорил про письмо, начал башкой вертеть – мух осенних на потолке пересчитывать.

– В чем дело? – поставил вопрос ребром Михаил. – Бумага не нравится? Давай конкретные предложения. Учтем.

Да, так и сказал. Официально, прямо, как на собрании. Потому как чего агитировать – и так все ясно.

Игнаша раза два перечитал бумагу, так повернул листок, эдак – за что бы уцепиться?

Наконец нашел лаз – Михаил по ухмылке понял. Все время сидел губа за губу, а тут сразу ящерицы вокруг рта заюркали – так ухмыляется.

– А кто это бумагу-то писал? Не ты?

– Допустим, – сказал Михаил.

– Ну тогда извини – подвинься... Эдак каждый выпьет да пойдет по деревне бумаги читать...

– Кто выпил? Я?

– Да уж не я же...

В общем, поговорили, обменялись мнениями. Михаил выложил все, что он думает об Игнате и ему подобных.

Ну, а про то, как он у Чугаретти был, про это надо в «Крокодиле» рассказывать.

Полицка Бархатный Голосок, жена Чугаретти, как злая собачонка набросилась на него, едва он раскрыл рот. Нет, нет! Не выдумывай лучше. Да я такое вам письмо, дьяволам, покажу, что волком у меня взвоете...

Ну а Чугаретти? Что делал в это время Чугаретти, который все эти дни, пьяный вдребезину, шлепал по деревне и каждому встречному-поперечному плакался: «Все. Последний нынешний денечек, как говорится... Раз уж хозяина заарканили, то и Чугаретти каюк. Потому как с сорок седьмого вместях на одной подушке...»

Чугаретти в это время сидел за столом и молча обливался слезами: Полицки своей он боялся больше всех на свете.

Наконец одну подпись он раздобыл – Александра Баева подписалась.

– Хорошо, хорошо придумал. Под лежач камень вода не бежит – не теперь сказано. Мы не поможем своему председателю – кто поможет?

Ободренный этими словами, Михаил толкнулся и к соседям Яковлевым: авось Нюрка не в расходе.

Нюрка была дома и страшно обрадовалась, когда увидела его в дверях.

– Заходи, заходи.

Старики были еще на ногах, старшая – золотушная – девочка, учившая уроки за столом, хмуро, недружелюбно посмотрела на него. Но Нюрка и не думала обращать на дочь внимание. У нее просто: огонь задула – и на кровать, а как там отец, мать, дети – плевать.

Михаил как-то раз закатился было к ней по пьянке и на завтра, когда встал, взглянуть от стыда на стариков и детей не мог, а самой Нюрке хоть бы что – песню на всю избу запела.

– Заходи, заходи, – приветливо, играя белозубым ртом, встретила его Нюрка, цыкнула на девочку – марш спать, и с готовностью уставилась на него.

Михаил, так и не сказав ни слова, выскочил из избы.

На улице разгулялся ветер – холодный, яростный, с подвывом, не иначе как зима свои силы пробует, и он, чтобы прикурить, вынужден был даже прислониться к стене старого нежилого дома.

Махорка в сигарке загорелась с треском. Крупные красные искры полетели в разные стороны, когда он шагнул против ветра...

У Лобановых в низкой боковой избе еще мигала коптилка, но не приведи бог заходить к ним поздно вечером: изба от порога до окошек выстлана телами спящих. Как гумно снопами. Три семьи под одной крышей.

К Дунярке тоже, по существу, незачем было заходить – какое ей дело до Лукашина, до всех ихних забот и хлопот? Горожаха. Отрезанный ломоть.

И все-таки он пошагал. Не устоял. Потому что больно уж ярко и зазывно полыхали окошки с белыми занавесками.

Сердце у него загрохотало как водопад. Что такое? Неужели все оттого, что к дому Варвары подходит? Сколько еще это будет продолжаться?

В доме смеялись – Дунярка была не одна, и Михаил, сразу осмелев, резко толкнул воротца.

Егорша... В самом своем натуральном виде – у стола, на хозяйском месте, там, где когда-то сиживал он, Михаил.

В общем, положение – хуже некуда. Как говорится, ни туды ни сюды.

– Извиняюсь, тут, кажись, третий не требуется.

Черта с два смутишь Егоршу! Завсегда ответ припасен:

– Да, не припомню, чтобы мы особенно быстро горевали о тебе.

Но тут, спасибо, врезала Егорше Дунярка:

– Не командовать, не командовать у меня. Я здесь хозяйка. Сходи лучше раздобудь бутылку. – Она кивнула на пустую поллитровку на столе. – Нету у тебя счастья. Мы с анекдотами-то, видишь, что сделали. До доньшка добрались.

– Не, – мотнул головой Михаил, – не надо. Я так, на смех забежал. Больно весело живете.

– А чего нам не жить? Почему не вспомнить счастливое детство? – Дунярка громко захохотала. – Он, знаешь, на что меня подбивает? На измену. Третий раз уж с бутылкой приходит. А сейчас почему нейдет за вином? Боится, как бы мы тут не столковались без него...

– Но, но, секретов не выдавать!

– А иди-ко ты со своими секретами! Вот я сейчас один секрет покажу, дак это секрет!

Дунярка встала, пьяно качнулась и пошла за перегородку – высокая, красивая, как-то по-особому, не по-деревенски поигрывая бедрами.

– Ну, закройте глаза! Живо! – крикнула она из-за перегородки.

Михаил и Егорша переглянулись с усмешкой, но подчинились.

Дуняркиным секретом оказалась непочатая бутылка водки, она поставила ее на стол – как печатью хлопнула.

Но главное-то, конечно, было не в бутылке, а в тех словах, которые сказала она при этом:

– Догадываешься, нет, что это за винцо, а?

Егорша вспыхнул, вскочил на ноги:

– Раз у вас такие секреты, то я, как говорится, делаю разворот на сто восемьдесят градусов.

А и делай! – хотелось крикнуть Михаилу. Какого дьявола не утереть нос этому прохвосту! А кроме того, зачем обманывать себя? Ему нравилась Дунярка. Такие уж, видно, эти иняхинские бабы – и тетка и племянница до костей прожигают. Эх, кабы тот же жар да от Раечки шел!

Михаил, однако, опередил Егоршу – первый выбежал из избы. Нельзя! Не время сейчас распускаться. Кто за него будет собирать подписи?

Он уже подходил к дому Марфы Репишной, когда его догнал Егорша.

– Слушай! Ты ничего не видел, ты ничего не слышал. Это для некоторых, ежели речь пойдет. У нас старшина Жупайло так, бывало, насчет этих дел говорил: «Самый большой грех на свете – выдавать мужскую тайну». Понял?

Михаил свернул в заулоч.

2

На Марфино крыльцо он уже поднимался раз сегодня – когда шел вперед, – но Марфы тогда дома не было. А сейчас она была дома – в избе стучал топор.

Плотницкий талант у Марфы прорезался к шестидесяти годам, после того, как выслали Евсея. Бабы тогда и в Пекашине и в соседних деревнях просто вой подняли: жалко старика. А потом – кто же их теперь будет выручать деревянной посудой? Ведь в хозяйстве и ушат надо, и шайку, и санки за водой к колодцу сходить – да мало ли чего!

И вот напрасно, оказывается, разорались из-за посуды: Марфа начала посуду колотить. Никогда в жизни ни одной доски не отесала, ни одного обруча не набила, а тут взяла топор в руки и почала шлепать. Да не только там ушаты, шайки, а и сани для колхоза. Правда, изделия Марфины не очень были складные, да зато крепкие, долговязые. Как сама она.

Заменила Марфа и еще в одном деле Евсея – в духовном.

Жуть что она вытворяла со своими старухами. На Слуде, рассказывают, одна староверка напилась в праздник допьяна и уснула на улице – так что сделала Марфа? Отвела старуху в кустарник за деревней, сняла с нее сарафан, рубаху, привязала к дереву: исправляйся! И старуха, голая, весь день выстояла под палящим солнцем, на оводах, так что к вечеру едва богу душу не отдала.

Дрожали перед Марфой и бабы, которые подходили к пятидесяти – их она силой загоняла в свою веру. И непременно крестила: летом в реке на восходе, а зимой в кадке, в нетопленной избе.

Местные власти, конечно, пытались образумить осатаневшую старуху. Но с Марфой разве сговоришь? Что сделаешь с первой стахановкой района, которая всю войну не сходила с районной Доски Почета? А кроме того, нельзя было не принять во внимание и то, что она вязала сани. Крепко выручала колхоз.

– Здорово, соседка, – сказал Михаил, прикрывая за собой тугую, шаркающую дверь. – Труд в пользу. Или как у вас говорят: бог на помощь.

– Как скажешь, так и ладно. Богу не слова нужны – помысел.

Марфа не Евсей. Это тот, бывало, когда ни зайдешь, ласковым словом встретит да сразу же работу бросит – любил поговорить, все ему любопытно да интересно, а Марфа даже и не встала. Сидела посреди избы на чурাকে, большущая, черная, как медведица, и хлопала обухом – обруч еловый на ушат наколачивала.

Свет был двойной – сверху, с грядки, от лампешки без стекла, и сзади, со спины, от красной лампадки перед божницей.

– Чего огонь-то из угла поближе не перенесешь? Лучше будет видно, – полушутя, полусерьезно посоветовал Михаил.

Марфа не словами ответила – топором. Так тяпнула по обручу, что другой раз подумаешь, прежде чем что-либо сказать.

Михаил присел на прилавок к теплой печи, с которой пахло нагретой лучиной, глянул на знакомый кумачовый крест на белом квадрате холста, висевшем на передней стене,

на тяжеленные черные книги с дощатыми обложками, обтянутые телячьей кожей, – они, как ящички, были сложены в переднем углу на лавке, – на медные иконы в красных бликах.

– От Евсея слышно чего?

– Печи кладет людям.

– Какие печи? Ты поминала, на огороде работает.

– Печи разные бывают. Кирпичные и духовные.

– Понятно. Значит, и там свое дело не забывает. А я к тебе тоже, можно сказать, по духовному делу. Насчет Лукашина, знаешь какое положение? Надо выручать мужика? Помнишь, как он в войну нам помогал?

Марфа кивнула.

– Я вот тут письмишко одно написал. – Михаил достал из кармана листок с заявлением. – Подписать надо. Когда там, наверху увидят, народ требует – знаешь, как на это дело посмотрят...

– Не подпишусь, – сказала Марфа и опять застучала топором.

– Это почему же?

– В дела мирские не мешаюсь.

– Как это не мешаюсь? По вере по твоей. Бог-то помогать велит ближнему. Так?

– Нет, нет, не подпишусь.

– Да почему? – начал уже горячиться Михаил.

– А потому. Не бумагой – молитвой мы помогаем.

– Молись! Кто тебе запрещает. А раз тебя просят по-человечески, делай. Не подпишусь... Ты не подпишешься, да я не подпишусь, да он не подпишется, а кто же подпишется? Человек ведь, черт подери, пропадает!

Тут Марфа так на него посмотрела – в обморок впору упасть: страсть это – при ней чертыхнуться и лешакнуться! Грех великий. Но Михаила уже ничем нельзя было остановить. Слова из него полетели, как картошка из мешка, опрокинутого в погреб. А чего, в самом деле! Тяжело ей три буквы поставить? Да и вообще – не будь она у старух за командующего, разве зашел бы он к ней? На кой она ему сдалась? Неужели он не понимает, как там, в райкоме, посмотрят на эти три буквы? Ага, скажут, хорошенькая защита у Лукашина – пекашинский поп!

Нет, он зашел к Марфе только потому, что за нее старухи держатся. Всех старушонок в кулак зажала, и он был уверен, что подпишешь Марфа под письмом – подпишутся и старухи. Вот для чего нужна была ему Марфина подпись.

Он ругал, пушил, лопатил Марфу – не мог своротить. И, эх, если бы дело тут было в страхе! А то ведь он знал: Марфа сроду ничего и никого на свете не боится.

А вот нашлась, нашлась, оказывается, такая сила, которая взнуздала ее.

3

Быстро отмигал избяными огоньками вечер. Пала ночь – то есть ни одного светлого окошка. Кромешная темнота.

Но на темноту, в конце концов, наплевать – он не в чужой деревне, любой дом на ощупь найдет. Хуже было другое. То, что какой-то гад пустил впереди его слух: Мишка, дескать, пьяный ходит, не пущайте!

И вот так: стучишь, барабанишь в ворота, а тебе из сеней отвечают: нет, нет, Михаил, не открою. Утром приходи, тверезой.

Но плохо же вы, черт вас побери, знаете своего Михаила! Иван Дмитриевич из-за вас, сволочи, в тюряге сидит, а вам и горя мало. Вы – храп на всю ночь? Открывайте! Сию минуту открывайте, а то я все ворота разнесу!

Открывали, извивались ужом. И – не подписывались.

К Петру Житову Михаил ни за что не хотел заходить: предатель! За десять килограмм ячменя продал его, своего товарища и друга. Какие после этого могут быть с ним дела!

Но у Петра Житова на кухне был свет. Единственный на всю деревню. А кроме того, кляни не кляни Петра Житова, а без него в Пекашине ни шагу. Он, Петр Житов, верховодит пекашинскими мужиками. Как Марфа Репишная – старухами.

Петр Житов был один. В руке карандаш, на столе – серая оберточная бумага. И полнейшая трезвость (у пьяного заревом рожа).

Его приходу не удивился. Неторопливо, деловито снял очки, ткнул толстым пальцем в бумагу:

– Кумекаю насчет поилок. Помнишь, Лукашин все хотел, чтобы у нас на новом коровнике автопоилки были?

Михаил зло хмыкнул: раньше надо было над автопоилками кумекать. А сейчас кого удивишь? Сейчас все, как говорит сестра, из кожи лезут, чтобы показать, какие они хорошие.

В общем, он достал письмо, положил на стол поверх серого листа с автопоилками: подписывайся.

Петр Житов снова надел очки, прочитал.

– Я думал, ты поумнее, Мишка.

– Насчет моего ума после поговорим. А сейчас – подпись ставь!

– Подпись поставить нетрудно. Все дело – зачем.

– А это уж не твоя забота. Без тебя разберемся – зачем.

– Эх, мальчик, мальчик! – сокрушенно вздохнул Петр Житов, – мало тебя жизнь долбала, вот что. – На самом деле он выразился куда более энергично и популярно. – Ты подумал, что из этого письма будет?

– Я-то подумал, а вот ты, вижу, в штаны наклал. А еще: я, я... Со смертью обнимался...

– Не трогай войну, Пряслин, – тихо, почти шепотом заговорил Житов. – Так лучше будет.

– Он шумно выдохнул. – А теперь сказать, почему твое письмо – ерундистика?

– Давай попробуй.

– Во-первых, коллективка. Пришпандорят так, что костей не соберешь.

– Коллективка? Это еще что такое?

– Письмо твое – коллективка. Кабы ты один его, понимаешь, написал да отправил – ладно, слова не скажу, резвись, мальчик, а когда ты по всей деревне бегаешь да подписи собираешь...

– Так что же, по-твоему, и письма нельзя написать? Ну-ну! – Михаил громко расхохотался. – Давай, давай! Еще чего скажешь?

– Еще скажу, что ты болван. За это письмо, знаешь, под какую статью можно подвести? Под антисоветскую агитацию.

– Мое письмо под антисоветскую агитацию? Да куда я его пишу? Черчиллю, Трумэну? Брось! Скажи уж лучше прямо: струсил. За шкуру свою дрожишь.

Тут за стеной, в передней избе, поднялся страшный грохот. Словно там потолок обрушился. Это, конечно, разбуженная ими Олена. Не иначе как поленом сгоряча хватила: дескать, уймимесь, дьяволы! Сколько еще будете орать?

Петр Житов не вояка со своей женой, тем более когда трезвый, это всем известно, но что касается других – убьет словом. Наповал и сразу. А тут, как рыба, выброшенная на берег, захватал ртом воздух – в цель, в десятку самую попал Михаил.

Наконец справился с собой.

– В следующий раз воздержись в части характеристик, Пряслин. И запомни: Петр Житов никого не боится. Ясно? А ежели я твое письмо не одобряю, то только тебя жалеючи, дурака. В сорок втором нам выдали летние перчатки вместо зимних. А надо на фронт ехать, на снегу воевать. Ну, я и скажи ребятам во взводе: давай напишем начальству. Написали. Да меня за это письмо едва под трибунал не уpekли. Больше недели таскали. Вот что такое эта самая коллективка. Понял? Теперь насчет Лукашина. Ежели тебе непременно хочется петлю голову сунуть, пес с тобой – суй. А зачем Лукашину на шею новый камень?

– Чего-чего?

– А вот то. Как, скажут, ты воспитал своих колхозников? Письма подрывающие писать?.. В сорок третьем, когда мы стояли...

Михаил сгреб со стола письмо и вылетел вон.

Петр Житов совершенно запутал его, все поставил в нем с ног на голову. До сих пор для него было законом: надо выручать человека, попавшего в беду. А послушать Петра Житова, так ничего этого нельзя делать. Сиди в своей норе и не рыпайся. Потому что как ни бейся – все ерунда. Ничем не поможешь Лукашину. Наоборот, даже хуже сделаешь.

Нет, такие советы Михаил принять не мог, и он решил прочесать деревню до конца.

Прочесал.

Результат все тот же – ни единой новой подписи.

В темноте на ощупь он добрался до взвоза Ставровых – к Федору Капитоновичу не пошел, и так все ясно, – сел на отсыревшие за ночь бревна, закурил.

Сиверко разбушевался – кепку рвало с головы. А уж телеграфные столбы стоном стонали.

Ну и дьявол с ними. Пускай стонут. Пускай летит все в тартарары. И дома, и столбы телеграфные, и сами люди. Сука-народ. Самые что ни на есть самоеды. Мужик для них старался-старался, а в яму попал – кто пальцем ударил? Храпят, слюнявят от удовольствия подушки. И Райка, его невеста, тоже не лучше других...

Михаил с усмешкой посмотрел в темноту, туда, где стоял дом Федора Капитоновича, и вдруг отчетливо, как на картине, представил себе полнотелую, разогретую сном Раечку, блаженствующую в своих пуховиках. Он яростно вскипел.

Э-э, да кто сказал, что она его невеста? Хватит быть остолопом! Нравится тебе Дунярка? Тянет тебя к ней? Ну и на здоровье! Топай. А все эти твои переживанья насчет Варвары, Раечки – мать собачья. Один раз живем!

Вон Егоршу взять. От молодой жены бегают – и ничего. А ты как старуха старая: разве можно сегодня с теткой, а завтра с племянницей? Можно! В Заозерье Паша Фофанов и дочке брюхо наvertsел, и маму не обидел – тоже вширь пошла. А ты как самый последний дурак. Свататься побежал. Чтобы дорогу к Дунярке отрезать...

Нет, все. С этим покончено. Был один запоздалый идиот в Пекашине, а сегодня и он кончился. Спасибо вам, землячки дорогие! Выручили. Просветили.

Михаил решительно встал.

И однако же не в верхний конец пошагал, а сперва к изгороди возле ставровского хлева. Что там такое отсвечивает – вроде как сполох в темноте играет? Все время, пока сидел на взвозе, косился глазом в ту сторону и не мог понять.

Загадка оказалась совсем простой: у Ставровых в избе был свет – от их окошек отблески. Они не спят, полуночничают.

4

Минуты не раздумывал Михаил, идти или не идти к Ставровым, что-то нехорошо у них в доме, раз ночью огонь палат.

Воротца, чтобы не скрипнули, приподнял, затем на носках, пригибаясь к земле, вошел в ярко освещенный заулочок. Остановился, прислушался. В избе – крик. И вроде Лизка плачет.

Он юркнул к простенку сбоку, поверх белой занавески заглянул в окошко.

Так оно и есть. Лизка, как елушка в дождливый день, вся в слезах, кто ей трепку задает, не надо спрашивать. Дорогой муженек – не иначе как, сукин сын, только чтоб с б..... а явился, даже фуражки еще не снял.

Больше Михаил не таился. На всю подошву ступил на землю, на крыльце протопал сапогами, кольцо в воротах повернул – едва не выломал.

В окошке резко раздвинулась занавеска – показалось Егоршино лицо, злое, колючее, – затем так же резко задернулась.

Раздался новый крик в избе, новая ругань, потом наконец заскрипели двери, и в сени вышла Лиза – Михаил по ширканью носа узнал

Однако, когда они вошли в избу, Лиза уже не плакала. Глаза красные, губы распухли, но не плакала. Не хотела, из гордости не хотела показывать брату свое горе.

Егорша – он стоял посреди избы руки в брюки, фуражка на глаза – словно из автомата прострочил в него:

– У меня не постоянный двор, чтобы ломиться середка ночи. Можно, думаю, и до утра подождать.

– Извини, я думал, мы еще без докладов.

– А ты не думай!

– Да что ты, господи! – всплеснула руками Лиза. – Неуж брату родному спрашивать, когда к сестре приходиться? Что бы тебе сказал тятя, кабы услышал это?

– Не услышит, поскольку мертвая природа и прочее... А потом, этому тате еще при жизни уши запечатали. Сволочи! – вдруг взвизгнул Егорша. – Родной внук в армии, священные рубежи... а вы у него вздумали оттяпать...

Михаил сделал шаг.

Но надо знать Егоршу! Закривлялся, заприплясывал – дескать, пьяный в дымину, ничего не соображаю, ни за что не отвечаю, а потом и вовсе начал валять ваньку – в пляс пустился.

Царапала, царапала,

Царапала, драла,

У самого Саратова

Я милому...

– Больно, больно баско, – сказала Лиза. – Может, еще сына разбудить? Пуцай посмотрит, что отец пьяный вытворяет...

– А что! – петухом вскинул голову Егорша. – Буди. Чем плох его отец?

Он новый номер выкинул – парадным шагом пропечатал к дверям.

– Порядочек! Ладнехонько идем. Пить выпивам, линию знам и в милицию не попадам...

– Ничего, попадешь. Так будешь делать, выведут на чистую воду. – Лиза все-таки не выдержала, всхлипнула. – Это ведь из-за чего у нас ночное собрание, – кивнула она брату. – Только что за порог родной перевалил.

– Ревность – родимое пятно и всякая тьма капитализма... – изрек Егорша.

– А по-моему, и при социализме за это по головке не гладят. Что-то я не читал в газетах, чтобы призывали: бегай от своей жены...

– А я в указчиках не нуждаюсь. Понятно? – отрезал Егорша.

– А я говорю, не надувайся – лопнешь.

– По этому вопросу советую вспомнить кое-какие события у колхозного склада.

– Ты!.. Ты мне про склад? – Михаил озверел, двинулся на Егоршу, и тому, конечно, никакой бы бокс сейчас не помог, да спасибо Лизке – она привела его в чувство.

– Что вы, что вы, дьяволы! Образумьтесь! Уж двух слов сказать не можете, чтобы не на кулаки...

Егорша, как лезвием, резал его своими синими щелками из-под светлого лакированного козырька военной фуражки с красной звездой, и Михаил подивился – столько ненависти было в этих щелках. Из-за чего? Кажется, он в последние дни не давал ни малейшего повода. Даже наоборот: после той идиотской потасовки у склада сам первый пришел к Ставровым. С бутылкой. Потому что черт его знает, этого прохиндея: начнет еще на сестре отыгрываться. И вот ничего не помогло. Егорша как на заклятого врага смотрит на него.

А может, это из-за Дунярки? – вдруг пришло ему в голову. Из-за того, что та дала ему от ворот поворот? Да еще при нем, при Михаиле. Егорша такой: не пожалеет, кого угодно стопчет, ежели стать между ним и бабой, которую он облюбовал. А то, что у него зуб на Дунярку горит, это ясно.

– Вопросов больше ко мне не имеется? – спросил, чеканя каждое слово, Егорша. – Ну и у меня нет. А писем в этом доме не подписывают. Потому как в этом доме с советской властью живут. Ясно?

– А я что, не с советской?

– Да вы об чем это? Об каком письме?

– А это уж ты его спрашивай, своего дорогого братца. – Егорша с ухмылкой кивнул Лизе.

– Он решил зимой в прорубь прыгать.

– И ничего я не решил. Кой черт, нельзя уж сказать, что белое – белое...

Лиза еще нетерпеливее спросила:

– Да чего ты натворил-то? Про какое письмо он говорит? Где оно?

Михаил отмахнулся:

– Так. Ерунда, – Не хватало еще, чтобы он сестру свою втащил в эту историю.

Но тут Егорша просто заулюлюкал: ага, дескать, что я говорил? Ничего себе письмецо, ежели даже родной сестре показать нельзя!

Михаил выхватил из кармана ватника скомканный листок, бросил на стол: читайте!

Лиза присела к столу, расправила листок, прочитала заявление вслух.

– Коль уж и дельно-то! Все, каждое словечушко правда. Да я бы того, кто писал, расцеловала прямо.

– Целуй! – усмехнулся Егорша. – Он тут, между прочим.

– Ты?

Лиза, конечно, хитрила – это было ясно Михаилу: не могла же она не узнать почерк своего брата! Но все равно было приятно. И приятно было видеть ее зеленые, по-весеннему загоревшиеся глаза. А потом еще больше: Лизка, которая за всю жизнь ни разу не поцеловала

его, тут вдруг выскочила из-за стола, обняла его и, подскочив, звучно чмокнула в небритую щеку.

Егорша язвительно захохотал:

– Да ты, может, и письмо подпишешь?

– Подпишу! Где карандаш?

– Ладно, ладно, сестра, – сказал Михаил. – Брось. – Стоило бы, конечно, проучить этого индюка, да уж ладно: с него достаточно и того, что сестра не струсил.

Но Лизка загорелась – не остановить. Сбегала в чулан, принесла карандаш.

– Где мне расписаться-то? Все равно?

– Не смей у меня! – гаркнул на всю избу Егорша. – Чуешь?

Лиза даже не взглянула на него. Быстро прочертила по бумаге карандашом, с пристуком положила его на стол.

В наступившей тишине стало слышно, как завывает и мечется под окошком ветер, уныло скрипит в заулке мачта.

Потом булыгами пали слова:

– Все! Ты не письмо подписала, а свой смертельный приговор, Счастливо оставаться! Раз тебе брат мужа дороже, с братом и живи.

Лиза не закричала, не заплакала. Ни тогда, когда захлопнулась за Егоршей дверь, ни потом, когда под окошками прошелестели его летучие шаги.

Она сидела за столом. Неподвижно. Белее недавно покрашенной известкой печи. И глядела на лежавшее перед ней письмо.

– Ну зачем ты, сестра, подписалась? Зачем? Да ты понимаешь, что ты наделала? Жизнь свою загубила...

Лиза долго не отвечала, потом, вздохнув, сказала:

– Пущай. Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести...

© Абрамов Ф.А., правообладатели

Источник публикации: Пути-перепутья : роман // Новый мир.— 1973.— № 1.— С. 3-114 ; № 2.— С. 5-58.